

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Русское окошко... Меня как переводчика мучило это название: это ведь просто, как говорится и как видно из повествования, просто форточка! Отверстие в большом окне, которое при желании всегда можно прикрыть! Для нас, русских людей, дело привычное — проветрить комнату, чтобы не задыхаться от жары, и так далее. Но здесь, в романе Великича, это не совсем понятное для европейского и балканского читателя «русское окно», или просто «форточка», приобретает особый смысл. Оно, это окно, позволяет взглянуть из несущегося в будущую жизнь поезда (или, если хотите, из любого «средства передвижения в грядущее время») на пройденный путь и найти — возможно, я на этом не настаиваю! — точку опоры, оттолкнувшись от которой можно отправиться в какой-то иной, отличный от нашего мир — или в прошлое — как вам заблагорассудится. И мне, человеку несколько знакомому с современной живописью, видится Марк Шагал, та возникшая на его глазах Россия, которая сумела принять в себя представителей разных народов, но не смогла обеспечить им такое будущее, о котором они мечтали и на которое надеялись. Но вернемся к книге.

Страна распадается: одна за другой от бывшей Югославии отходят союзные республики, начинается жесткое сведение счетов, разгорается гражданская война, усугубленная бесчеловечными бомбежками сил НАТО. Герой романа, убегая от нарастающей трагедии национального раскола и войны, пытается найти себя в соседней Венгрии (его родная Воеводина некогда была составной частью Австро-Венгерской империи), но и там он сталкивается не просто с любовью к милой девушке, а с отголосками конфликта конца сороковых, который не на одно десятилетие разъединил братские славянские народы. Отыскивая в Германии следы художника, некогда посвятившего себя России, он встречается с мертвыми телами, которые — в буквальном смысле — перегораживают ему путь туда, куда ведет его воображаемый поезд с «русскими окошками» — форточками, сквозь которые видно не только прошлое, но и — возможно! — будущее. Но это не данс макабр, танец мертвецов, а попытка вырваться из окружающего мира в мир настоящий, обрести себя вне этого вымышленного, театрального, надуманного мира. И силы ему дает только возвращение на Родину — именно так, с большой буквы.

Драган Великич, на глазах которого родная страна проделала путь от расцвета к распаду (он родился в 1953 году) и последовавшему созданию Сербии (опять-таки многонациональной!), прекрасно знает среду, в которой пребывает его герой: несколько лет, с 2005 по 2009 год, он служил в Вене послом своей страны, которая за это время успела побывать союзом Сербии и Черногории, а потом стала просто Сербией. (Отметим в скобках, что в XX веке Югославию в посольствах нередко представляли поэты и писатели, достаточно вспомнить нобелевского лауреата Иво Андрича, прекрасного поэта Йована Дучича, талантливейшего писателя Милоша Црнянского, да и ныне здравствующую Виду Огненович...) Но не пребы-

вание героя «Русского окна» в чуждых странах дает ему возможность увидеть мир таким, какой он есть, а именно взгляд в «русское окно» — в ту самую форточку, которая дает возможность вырваться из окружающей его суеты сует и увидеть наконец цель, к которой надо стремиться. Мятущийся герой его «Русского окна» старается найти себя на Западе — и не может это сделать. Ни любовные привязанности, ни обещания безбедного существования не могут оторвать его от родины, и он решает вернуться в свою родную Воеводину, к которой прирос сердцем...

Кстати, Драган Великич — единственный современный сербский писатель, который дважды удостоился самой престижной литературной премии — журнала «НИН» («Еженедельной информационной газеты»), присуждаемой лучшей книге года. «Русское окно» отмечено также еще двумя престижными наградами: сербской премией имени выдающегося писателя Мешы Селимовича и Центральноевропейской литературной премией. Он признанный автор, один из ведущих писателей современной Сербии. Таков путь становления героя «романа-омнибуса» — жанра, несколько странного по форме, названного так по той причине, что в одном тексте автор рассказал истории двух человек, судьбы которых, казалось бы случайно, пересеклись на жизненном пути. Однако этот непривычный для русского читателя жанр есть не что иное, как роман в лучших традициях классической, я бы даже сказал русской, литературы: не случайно автор дважды в тексте отсылает читателя к великому Антону Павловичу Чехову, явно обозначившему тему этого романа — поиски самого себя и душевного покоя в мятущемся мире — в, казалось бы, легкомысленной юмористической сценке под названием «О вреде табака». У больших писателей случайностей не бывает...

Будем надеяться, что вскоре нам представится возможность подробнее познакомиться с творчеством Великича: его новый роман «Расследователь» также отмечен премией журнала «НИН» и еще четырьмя престижными национальными премиями. Он заслужил это!

Василий Соколов,
переводчик, литературный редактор серии «Сербика»

РУССКОЕ ОКНО

РОМАН-ОМНИБУС

ЗАПИСКИ ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛА

Я болен. Несомненно. Я, виртуоз движения, я, который с расстояния в полметра безошибочно попадал ключом в замочную скважину, который на кассе самообслуживания одной рукой доставал бумажник, а другой укладывал покупки в сумку, теперь только с пятой попытки открываю входные двери. И ремень не могу продеть в петли на брюках, не перепутав их. Вещи валяются из моих рук. Захочу взять что-нибудь, и в следующее мгновение забываю, что именно. Нитку даже не пытаюсь вдеть в иголку. Тапочки вообще не снимаю, только когда приходится выходить. Но и в этом случае обуваю только мокасины, потому что шнурки не слушаются меня. Схожу с ума. Все происходит ужасно медленно. Не могу сосредоточиться ни на чем более чем на несколько минут. Уже половина двенадцатого. Утром я что-то читал, десять страниц. Еще столько же пролистал. Губит меня этот пересчет. Почему это я должен все учитывать, архивировать? Сегодня у меня нет никаких обязательств, могу и после обеда почитать. Сначала надо хоть как-то успокоиться. Послушать Рахманинова? Как время летит! С радостью бы его порезал на кусочки.

Раз и навсегда сказать всему — хватит? Знаю, Руди, это смешно. Но что тут поделаешь, клавиши меня не слушаются, будто не пальцами играю, а копытами. Руки трясутся, даже когда дирижирую. Абсолютно все нервирует меня. Хоть бы один раз, хоть бы разочек расслабиться на пару часов. Я — выработанный рудник. Все разлагается. Все. Не могу продвинуться во времени ни на секунду, чтобы не объявились какие-нибудь обязательства: зубная боль, ненаписанные письма, нестиранное белье, неглаженные рубашки, неоплаченные счета, невычитанные партитуры. Дергается правый глаз. Я обозлюсь. Конечно же, обозлюсь, если наперед знаю, что буду злиться. Иной раз бывало и похуже. Утром в магазин. Сумка полна ненужных вещей. Разве наперед узнаешь, что тебе надо? Вообще, это дело с предугадыванием сплошная мука. Моя мама всю энергию тратила на то, чтобы угадать. Но все-таки так и не сумела ничего такого предусмотреть. Однако даже попытка сделать это — хороший самоконтроль. Зачем я сейчас закурил? Мой отец вовсе не старался хоть что-то предвидеть. Так что мама старалась за двоих. Это уже пятая сигарета, а всего лишь полдень. Покупки, вынос мусора, мытье машины, установка телевизионной антенны, визиты к мастеру. Все это меня достало. Какое счастье, что человек не бессмертен. Если не это, я бы наложил на себя руки. Вы мне не верите, Руди? Все меня, говорю, сводит с ума: мир и покой западной цивилизации, восточная леность. Может, отправиться на рыбалку? А как привязать леску? Руки у меня дрожат. Я это триумф всех безумий. Я — единственно Он. Уничтожить Его бесповоротно. Для начала поразбивать непослуш-

ные вещи, переломать зонтики — их в первую очередь, этих притворных защитников. Отказаться от всего, и тогда, одним-единственным движением, выстрелом в голову, вынести приговор.

Когда я поднимаю палочку, музыканты заканчивают настраивать инструменты. В это мгновение все взгляды обращаются ко мне. Под мышкой проскальзывает капелька пота, а легкое движение поднятой руки вызывает к жизни множество тонов. И тогда вместо оркестра я слышу свисток паровоза. Моя рука продолжает движение руки моего деда, начальника станции Сичево. Пока он неподвижно стоит на перроне, провожая последний вагон в сторону Ниша или Пирота, его лицо в сотнях вариантов отражается в головах усталых пассажиров. Неважно, был ли то «рабочий в три», или «Симплонский экспресс» на линии Париж — Стамбул, или пассажирский на Димитровград.

И «Симплонский» однажды остановил дед на станции Сичево, чтобы мать со мной и с сестрой поднялись в вагон, на котором была табличка «София — Белград». Минуту спустя зеленый сигнал выпустил поезд в сторону Ниша. Кто-то посмотрел в окно, проснувшись из-за того, что поезд остановился в ночи. Он увидел маленькое, приземистое здание вокзала, едва успел прочитать название города на табличке, написанное кириллицей и латиницей, и то только потому, что находился в одном из вагонов в центре состава. Он увидел начальника станции и трех пассажиров: женщину и двоих детей. Эти тона, отсутствующие в партитуре, появились на мгновение в пространстве свободного такта, оказавшись в

поле зрения сонных пассажиров по мановению красного сигнала семафора, чтобы сразу после этого исчезнуть из нотной системы международной железнодорожной линии.

Годы спустя, когда мне регулярно приходилось ездить ночами и просыпаться при остановке поезда, я наслаждался движением руки, отодвигающей оконную занавеску. В спальнях вагонов мое место всегда было в наилучшем положении относительно окна. С него были прекрасно видны пассажиры, спешащие на посадку. Пока поезд стоит на красный свет, решаю ребус провинциальной площади: светящиеся окна на фасадах зданий, уличный фонарь, качающийся на ветру, и реклама сигарет с ментолом, призрачно освещенная импульсами оранжевого света отключенного светофора. Три источника света вызывают волнение. И оно начинается вместе с голой женской ногой, выглядывающей с верхней полки из-под одеяла. Ночью в моем купе туристического класса проводник впустил какую-то женщину. Она тяжело дышала, ворочалась во сне. Прислушиваясь к ее дыханию, я опять заснул. Когда на рассвете открыл глаза, полка была пуста и аккуратно застелена, как будто никто даже не присаживался на ее краешек и не касался ладонью подушки. Единственным решением этой загадки могло быть то, что женщина, которая провела ночь в моем купе, была кадром, вырезанным из сна.

«Нехорошо, когда разный свет смешивается, — говорила мама. — Я знала женщину, которая жила в темной квартире над баром “Лотос”. Это было сразу после войны. У нее даже днем горел свет. В итоге она почти

ослепла. Но даже с таким зрением она поддерживала в квартире идеальный порядок. Если уж ты днем зажигаешь лампу, будь добр задернуть шторы, чтобы дневной свет не смешивался с электрическим».

Я и сейчас задергиваю шторы, когда вызываю маму.

Только в полной темноте царит образцовый порядок. Под закрытыми веками смешиваются множество источников света. Щелки не позволяют залить все пространство монолитным цветом, который, по крайней мере, хоть на мгновение создал иллюзию чистой темноты, в ней каждая вещь оказалась бы на своем месте и каждая фраза стала бы кратчайшим путем, ведущим к цели.

Тем не менее я зажмуриваюсь. Пытаюсь избавиться от щелок. Если сосредоточиться как следует, все получится.

Во мраке я здоров.

Проблемы возникают при свете. Не только потому, что смешивается свет из разных источников, но даже отсвет погасших лампочек вносит непорядок. Цвета я различаю только в темноте. Синий распространяет свежесть, в ноздрях ощущаю запах йода. Может быть, потому, что вырос на море? Желтый пьянит как ладан. Красный согревает, но его тепло настолько неприятно, что вызывает аритмию. Зеленый успокаивает. Серый наполняет меня вожделием. Кто это ожидает от меня нейтральности? Глубокие декольте во мраке кажутся еще глубже.

Дирижируя, я всегда закрываю глаза, время от времени открывая их, чтобы убедиться, что все остается на

своих местах. Нет того глубокого сна, в который можно войти, когда округлые звуки гобоя разливаются в спирали моего уха. Память продиктована ужасающей бухгалтерией. Одну и ту же партитуру я каждый раз читаю иначе.

Неужели это из-за света?

И как вам нравится это имя? Руди? Без координат. Все равно что сказать: кухня, велосипед, табакерка. Существуют имена без координат. Например, Филипп, Анна, Фабиан, Оливер, Мартин, Ева, Константин. Все это один и тот же свет, источник которого невозможно установить.

Меня беспокоят возможности. Я все время должен принимать какое-то решение. Положить в кофе одну или половинку ложечки сахара? Просто перелистать или прочитать всю газету? Снять ли трубку после телефонного звонка? Открыть ли окно? Жизнь проходит, а я никак не могу решиться. И в результате ничего не успеваю сделать. Только мысленно касаюсь возможностей. Мир переполнен возможностями. Мой идеал — всегда быть неподвижным. В любой момент быть всюду на престоле инвалидной коляски. Переживать одновременно все возможности в окружении бедкеров, каталогов, проспектов, расписаний движения, меню. Не раз, прибыв в какой-нибудь город, я часами отыскивал подходящий отель. И когда наконец снимал номер и распаковывал багаж, приходилось сталкиваться с дилеммой: в каком ресторане поужинать. Ничто меня так не беспокоило, как вероятность того, что кто-то еще будет сидеть за моим столом, хотя я впервые входил в этот ресторан. И не просто сидит за моим столом, но и лишает меня мысли, которая могла возникнуть за этим столом.

И именно эта мысль направляла меня в другую сторону. Несомненно, тот, что сидит за моим столом, отнял у меня и стол, и мысль, и направление. Отнял у меня жизнь. Совсем другую жизнь, которая, конечно же, лучше той, которой живу. Тем не менее я контролирую и эти пропущенные жизни. Это нелегко, это постоянно тревожит случайную жизнь, но мне как-то удается не растеряться, поддерживая контакт с пропущенными жизнями. Я чувствую, как они струятся рядом со мной. Как параллельные железнодорожные пути, они удаляются, чтобы неожиданно сблизиться. За моим столом, в пустом трактире. Поэтому так важно сидеть за своим столом. Что можно осуществить только в пустом трактире. Спокойно выбрать место не слишком близко к дверям, но и не у окна, от которого зимой веет холодом, а летом — жарой. Однако потом наступают муки с меню. Блюда, которые нравятся мне, чередуются с нелюбимыми. Придумываю тактику обольщения официанта, с тем чтобы он объединил в одном заказе все, что я люблю, исключив то, что мне не нравится. Может быть, настоящая идентичность разлита в безразмерном пространстве пропущенного?

Всего слишком много. Это всемирная проблема. И потому существует только единственно возможный конец. Мир как склад. Потому что в нем так много всего, что невозможно более ни слушать, ни смотреть, ни читать. Если я не могу все, то не буду ничего. Рассказ о мире больше самого мира.

Моя первая жена, Юлия, всегда спрашивала, что со мной делали в детстве, отчего я стал таким. А у меня

детство было счастливое, и вообще не считаю, что мои проблемы возникли тогда. Ничего подобного не было. Я родился взрослым. И не может она мне ничего сказать, та, которая за восемь лет брака ни разу не сменила набойки на каблуках, ни разу не пришила оторванную пуговицу, ни разу не заштопала дыру на чулках. Как будто за вещами не нужен догляд и уход. «Ты ходишь к дантисту, когда у тебя болят зубы? — спрашивал я ее. — «Пьешь воду, когда тебя одолевает жажда?» И почему это моя привычка не оставлять на ночь на столе немытую посуду была отклонением от нормы, возникшим в детстве? А ведь я ничего такого не усваивал. Ведь я не раз укладывался в постель, несмотря на неубранный после ужина стол. Случалось при этом и засыпать, но я регулярно просыпался ночью, тихо прибирался и мыл посуду. И это приводило Юлию в бешенство. Как и меня выводила из себя ее привычка завтракать в постели. Как и то, что, едва опустив тарелку и чашку на пол, она обнимала меня. А в постели полно крошек и пятен от пролитого кофе.

Моя вторая жена была аккуратнее даже моей мамы. Ее звали Елизавета. Пришивала пуговицы, едва на них ослабевали нитки, контролировала каблук на обуви. Никогда не позволяла ей изнашиваться. В кухонном шкафу все баночки с приправами были полны. Она могла приготовить любое блюдо. Чемоданы и сумки, укрытые полотном, с ключами и замочками, аккуратно сложенными во внутренних отделениях, были готовы к путешествию. Она все успевала предугадать, подстраховаться от любой неприятности. Она была настолько идеальной, что даже мусор выбрасывала заранее. Бутылка вина еще не была открыта, а я видел, как ее взгляд, ми-

лый и несколько прохладный, уже провожает эту бутылку в контейнер для стеклянного боя. В нашей связи не было места следам. Она перехватывала мое дыхание, желтый круг на наволочке после ночи, и она меняла постель. Полотенца всегда были идеально чисты. Она была настолько аккуратной, целиком посвятившей себя незыблемому порядку, что я очень быстро перенял привычки своей первой жены. Однажды я съел в кровати бутерброд. Ее пальцы на ногах были абсолютно пропорциональны, ногти правильны. Даже на мизинце форма ногтя была классически прекрасна. Знаете, Руди, на мизинцах ноги часто вместо ногтя бывает просто точка, какое-то утолщение, и это мешает. А тот непослушный второй палец, какой бы стопа ни была, должен быть хотя бы на миллиметр короче большого пальца. Меня очень возбуждает, когда летом вижу женскую ступню в сандалии, когда этот второй палец, непослушно большой, с развитым суставом, выросший за счет усохшего мизинца, перекрывает размером большой. Это говорит о скрытой агрессии хозяйки.

Елизавета говорила, что смерть не страшна, потому что после ее наступления уже не надо заботиться ни о чем, теперь другие должны заниматься формальностями, без которых не бывает окончательного упокоения. Несмотря на то что нам еще не было сорока, она решила купить участок на кладбище, чтобы на всякий случай застраховаться от жизни. Для нее жизнь была невыносима из-за сюрпризов, которые ожидают нас на каждом углу. Она полностью погрузилась в страсть инвентаризации и в мыслях, наверное, пересчитала даже венки на своих похоронах. Учитывала все, начиная со случайных взглядов на улице и до наших объятий. Однажды она

как бы в шутку призналась, что было бы неплохо учесть удовольствие, полученное от мастурбации. Каждый употребивший ее тело, пусть даже и мысленно, должен был заплатить.

Я долго избегал визита на кладбище. Нам предложили участок рядом с моргом. Ей это не понравилось. Она хотела упокоиться подальше от главной аллеи, в каком-нибудь удаленном уголке кладбища. Я чувствовал, что ей мешал тот факт, что предложенное место было перекопано. Кто-то уже десятилетиями лежал на том месте, которое должно было стать ее.

В гостиницах она никогда не пользовалась полотенцами. Мы всегда брали в поездки свои. Утром она первым делом читала газеты. Однажды она наткнулась на сообщение о том, что рыбаки неподалеку от Мадагаскара поймали допотопную рыбу, которая, как считалось, вымерла два миллиона лет тому назад. Ее ужаснула возможность такой катастрофической ошибки, весь день она была не в духе.

— Какой диссонанс, — сказал я. — Через два миллиона лет после вымирания вида потомок бьется в сети. Какой вагнерианский ход!

— Наверное, коперникианский?

— Вагнерианский, — повторил я. — Вагнер любил животных. Он еще ребенком разучивал вместе с ними сложные игры мотивов. Коперник же любил фрукты. Вся его теория покоится на яблоке, которое упало с яблони, под которой он лежал.

— Яблоко упало на голову Ньютона.

— Какая разница. И Копернику тоже что-то упало на голову.

— И что случилось с этими животными Вагнера?

— Вагнер еще ребенком рассовывал зайцев, ежей, черепашек и разных жуков по ящикам письменного стола. А в задней стенке этого стола он проделал дыры, чтобы его любимцы могли дышать...

— Не понимаю, почему он не держал птиц? Их можно было бы и не прятать.

— Птицы в любом случае были весьма шумными. И непослушными, именно потому, что обладают голосом. Ему не нужны были внешние голоса. У него они были внутри.

— Даниэль, а почему же тогда он не использовал рыб? Они ведь немые. Они могли бы спеть все, что он замышлял.

Я чувствовал, что ей вообще безразличны и птицы, и рыбы. Больше всего ее волновал тот факт, что Вагнер продырявил стол.

На следующий день мы купили участок на окраине кладбища, засаженной молоденькими деревьями.

— К нашему появлению они подрастут!

Она погибла два месяца спустя, на пешеходном переходе, уверенная в том, что зеленый сигнал светофора и фигурка шагающего пешехода обеспечивают ее безопасность.

* * *

Я знаю, Руди, что разбрасываюсь, но бессмысленно вносить какой-то порядок, придерживаться концепции. Любая селекция — грех. Только сейчас, приговоренный к престолу этой коляски, я чувствую пульс мира, всю роскошь, которую предоставляют нам шпионские мыс-

ли. Я двигаюсь во всех направлениях. Мне доступно все. Не знаю, почему, но я могу утверждать это и без доказательств.

Утверждать без доказательств? Думаю, так будет вернее всего. Моя мама всегда говорила, что из меня что-то получится, хотя у нее не было ни одного доказательства моей исключительности. В школе я ничем не выделялся. Все у меня шло примерно одинаково. Но не более того. Мама, тем не менее, твердила, что я стану знаменитым. Часами я лежал на кровати и распоряжался своей славой. Позже, в гимназии, я несколько сдал с учебой, но поскольку моя известность была только вопросом времени, я не старался доказывать то, что в скором времени станет очевидным. Каждое утро, направляясь из дома в школу, я прощался со знакомыми улицами, с фасадами, витринами, людьми, которых встречал на тротуарах. Боже, говорил я себе, они даже не догадываются, мимо кого проходят. Живут в этом идиллическом городе на море, в городе, прошлое которого измеряется тысячелетиями, в городе, где жили Цезарь, Данте, Микеланджело, Казанова. В городе, в котором жил и я. Я жалел сограждан, пропускающих единственную возможность познакомиться со мной, немного поговорить или хотя бы угостить меня мороженым. А ведь однажды они не поверят собственным глазам, когда прочитают в газетах, что я столько лет жил среди них.

Мои преподаватели в гимназии не осознавали, что от меня зависит, будет ли их некоторое время помнить история, упомяну ли я их в своих мемуарах. Когда я был учителем музыки в средней школе, то выбирал самых слабых учеников, на которых не обращали внимания мои колле-

ги, и награждал их высокими оценками. Я чувствовал, что и среди них есть те, которым уже зарезервировано имя в том поезде, и что однажды они в своих мемуарах вспомнят и меня. А я все еще прозябал на забытой станции из-за какой-то ошибки в расписании, не теряя надежды, что вскоре отправлюсь с запасного пути по рельсам международной линии. Уже не стало дедушки, который смог бы остановить «Восточный экспресс». Тем не менее я верил, что меня ждут далекие пути. Я так мечтал, что иной раз не слышал, как преподаватель называет мое имя. И пока весь класс покатывался со смеху, а преподаватель выставлял плохую оценку, я с отсутствующим видом глядел на эту толпу, которой только предстоит бороться с тем, что принесет им будущее, в то время как у меня уже было зарезервировано место в вагоне для избранных.

Сигналы открывали далекие пути, по которым катили дрезины, вагонетки, поезда. На платформах забытых станций стоят их начальники, в залах ожидания дремлют пассажиры. Лунный свет освещает очертания стрелок. Одной из них предназначено окончательно направить меня к давно сформированному поезду, который и есть моя истинная жизнь. Эту жизнь я вижу как идеальную партитуру, на которой не только обозначены ноты и паузы, но и отмечена каждая складка, каждый шум, каждый запах. В этой партитуре записан каждый зевок тимпаниста, движение губ молодой флейтистки, внезапная мысль, пронесшаяся в голове фаготиста, выдувающего последнюю строку нот блистательного крещендо. В этой партитуре я вижу и то, что не видит никто. Мир — это бескрайний аквариум. А я, как та мадагаскарская рыба, выживший каким-то чудом, свидетельствую о вымерших животных. Никто, кроме моей мамы, не

распознал во мне исключительный дух, все требовали каких-то доказательств, невнятных внешних проявлений. Как будто нет невидимых жизней. И разве Вагнер не оставался бы Вагнером, если бы сочинял только для зайцев, ежей, черепах и жуков? Или если бы по дороге в Тоскану не встретил бы Чимабуэ и увидел маленького Джотто, рисующего на песке? Джотто рисовал бы, даже если бы ему до конца жизни пришлось пасти овец. Веками яблоко Ньютона падало мимо его головы. И все-таки оно оставалось Ньютоновым.

Ребенком я не боялся уколов, темноты, глубокой воды. Не боялся зубных врачей, парикмахеров, незнакомых людей. Необъяснимый страх вызывала только Нерина, прислуга, приходившая каждую вторую субботу, когда мама предпринимала капитальную уборку квартиры. Накануне ее прихода мне становилось тоскливо, потому что мама меняла привычное расположение вещей в доме. На террасе приготавливались метлы, ведра, тряпки. Со столешницы обеденного стола свисали кожаными спинками вниз стулья. Поскольку мы с сестрой не участвовали в большой уборке, время до полудня проводили в кинотеатре, а после обеда уходили играть во двор, но все-таки осознание того, что в квартире переставляют вещи, становилось причиной моего беспокойства. И только вечером, еще с порога вдохнув запах мастики, я начинал отходить. Выстиранные, еще влажные шторы источали свежесть, мебель сверкала, полы излучали легкость. Если я замечал, что какая-то лампа, ваза или статуэтка сдвинута, то заботливо возвращал этот предмет на то место, где он обычно стоял. Мир опять был на своем месте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru